

Е. ПЛИМАК. *Не рано ли нам хоронить марксизм?*

«Ясно одно, что сам я не марксист...».

К Маркс

Наша общественная наука оказалась в своеобразнейшем положении — ремонтируются не только верхние ее этажи, методически разламывается сам ее марксистский фундамент. Не только наши социал-демократы, демократы (не говорим уже о новоявленных консервативных политологах) спешат ныне похоронить марксизм как мертвечину, первопричину нашего тоталитаризма. Марксизму изменили иные самые что ни на есть ревностные его пропагандисты и знатоки. Некоторые работники аппарата ЦК, повернув в сторону ценностей духовных, зовут не без их же помощи «усыпленный коммунизмом народ» испытать «потрясение мыслью», затем двинуться — опять же с их помощью — не куда-нибудь, а к «Вехам»¹. А наиболее заметные когда-то марксисты-теоретики, актив журнала «Проблемы мира и социализма» спешат известить общественность, прежде всего молодежь, что отродясь и не было никакого научного социализма — просто-напросто «к новой форме утопического социализма прибавили словечко научный»². Поскольку именно марксистская методология позволила мне вместе с И. Пантиним написать труд «Россия конца XVIII — начала XX в.: в преддверии грядущей дра-

мы»³, осмелюсь выступить в защиту этой методологии, разумеется, уточняя и обновляя ее.

Объективист С. Пушкарев
и партийная М. Нечкина

Так как сюжетом нашей монографии был великий социальный переворот, свершившийся в России конца XVIII — начала XX века, мы следовали марксову принципу: об эпохе переворота «не судят по ее сознанию»⁴. Естественно, мы не забывали о двух вещах:

— марксизм — всего-навсего одна из относительных истин, нуждающаяся ныне в уточнениях крупного плана;

— марксизм — это теория, заставляющая считаться с собой.

Как теоретик-социолог Маркс не уступал Зомбарту, Веберу, Мангейму (этого не оспаривает даже немарксистская наука). Что же касается воздействия марксизма на реальные исторические процессы, то ничего равного по силе этой теории не было в XIX—XX столетиях.

Но именно потому, что остаюсь марксистом, я хотел бы отмежеваться от цитатно-буквалистских вульгаризации марксизма, которыми наводнена советская историогра-

¹ См. Ц и п к о А. Необходимо потрясение мыслью. «Московские новости», № 26, 1 июля 1990.

² См. Карякин Ю. После смерти. «Комсомольская правда», 22 июля 1990.

³ Такое заглавие мы думаем дать I тому «Очерков истории КПСС».

⁴ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 13, с. 7.

фия. Эти вульгаризации и заставили меня вспомнить вынесенные в эпитафию слова Маркса, сказанные им как-то в сердцах Лафаргу по поводу французских «марксистов»: «Ясно одно, что сам я не марксист...»⁵.

Оговорю и такой важный пункт. Объективизм в исследованиях по истории, с моей точки зрения, невозможен. Если перед вами книга по истории России, автор которой уверяет, что в своем изложении фактов он стремится «быть совершенно объективным «докладчиком»; но не прокурором и не адвокатом нашего исторического прошлого», что он не окрашивает его «ни в черный, ни в его «Курсе». Но если бы академик Нечкина нежно-розовый цвет», что он не старается «втиснуть факты нашей истории в рамки какой-либо историософской или социологической схемы», то решаю утверждать: перед нами обман или самообман. Кто станет спорить — фактов в истории России множество! И каким же это образом без «историософской» или «социологической схемы» можно отобрать из них хотя бы всего одну тысячу? А просмотр тех, что уже отобраны, являет нам любопытнейшие авторские отступления от объективизма. Скажем, таким крупным революционером, как Чернышевский или Писарев, отведено С. Пушкаревым по паре строк. Нечаев же, псевдореволюционер, расписан в громадном примечании на четырех страницах с цитированием его творений! Партийные симпатии автора выдают даже скорбное отточие, поставленное в конце его книги. Описав Февральскую революцию в России 1917-го, он замечает: «Многим тогда казалось, что Россия стоит на пороге своего светлого будущего...»⁶.

Но, по правде сказать, объективизм в исторической науке предпочтительнее иных партийных писаний, построенных вроде бы на самой что ни на есть «передовой теории». Сверхэрудированная М. Нечкина, за которой, правда, надо проверять и перепроверять каждый факт (вернее, его интерпретацию), отличалась громадным диапазоном интересов и необыкновенной легкостью пера. Перед концом жизни она успела написать громадную книгу о В. Ключевском, в общем-то доброжелательную. Но поведав о том, как несчастный историк «бился в замкнутом кругу идеалистической системы, временами

надламывал стены, его теснившие, совершал прорывы, искал выход, вновь прятался в свое убежище», она практически поставила крест на его трудах: «Осколки ее разбитых устоев (устоев порочной идеалистической системы.— Е. П.), в которые он сам уже не верил, ему пришлось собрать, искусственно слепить в нечто целое, выдавая его за «общеизвестное» во вводных лекциях к «Курсу». А «Курс» он называл «сделкой с совестью»⁷.

Мы не собираемся доказывать не заключавшей сделок с совестью Нечкиной, что у Ключевского не было тех или иных изъянов. Но если бы академик Нечкина подобрала и разобрала хотя бы один из «осколочков», содержащихся в книгах Ключевского. Ведь Ключевский всего в четырех строках (!) сумел дать ключ к пониманию всей истории России в Новое время, да и в наше. Новейшее — считай, от Ивана IV (если не Ивана III) вплоть до Ленина и даже... Горбачева: «Закон жизни отсталых государств или народов среди опередивших: нужда реформ назревает раньше, чем народ созревает для реформы. Необходимость ускоренного движения вдогонку ведет к перениманию чужого наскоро» *. Насколько сложно реализовывалась в нашей отечественной истории эта закономерность, мы с Пантиним стремились показать в нашей книге, сознательно положив модель «догоняющего развития» школы Соловьева—Ключевского в основу анализа и, естественно, ставя акцент на действиях в рамках данной модели революционных сил — последним сюжетом Ключевский фактически не занимался (доносы на него шли валою, а в 90-е годы XIX в. он вообще значился в «Списке должностных лиц и членов Комитета грамотности, известных своей неблагонадежностью»⁹...

Выступая в защиту марксовской методологии, способной усвоить все достижения методологии домарксовской, поначалу скажу несколько слов о социальном творчестве вообще — его-то и стремится направлять наука об обществе.

⁵ Маркс К, Энгельс Ф. Соч., т. 35, с. 324.

⁶ См. Пушкарев С. Г. Обзор русской истории. Нью-Йорк, 1953, с. 6, 417, 418, 420—423, 475.

⁷ Нечкина М. В. Василий Осипович Ключевский. М., 1974, с. 571.

⁸ Ключевский В. О. Письма. Дневники. Афоризмы и мысли об истории. М., 1968, с. 316.

⁹ Данные В. И. Подлящика.

Горькие плоды Великих революций

Основной вопрос науки об обществе — результативность исторической практики человечества, соотношение средств, цели и итогов освободительной борьбы. С точки зрения этого высшего критерия опыт великих революций XVII—XX вв. был далеко не однозначным. Социальная материя обнаруживает удивительную неподатливость воле и разумению людей и особенно в те моменты, когда они наиболее решительно принимаются за радикальную переделку явно несправедливых общественных отношений — будь то по наущению Разума или по предписаниям Научной теории. Эта неподатливость проявлялась в самых различных формах и аспектах. Желанная свобода в ее борьбе с деспотизмом оборачивалась деспотизмом свободы; место прежних королей-тиранов занимали еще более тиранические Бонапарты, Сталины. Сама цель — Царство Разума, или Коммунистическое общество — отодвигалась куда-то в неясную даль, поначалу же народы утопали в морях крови. Столетиями тому или иному обществу — английскому, французскому (а ныне советскому), да и мировому сообществу в целом — приходилось переваривать достаточно горькие плоды Великих революций.

Проблема овладения освободительным процессом, избегания непредвиденных и нежелательных результатов Великих революций была самой грандиозной проблемой, завещанной еще Веком Разума революционерам грядущих поколений. Пожалуй, нигде, как в России, она не переживалась столь трагически, а значит, и столь поучительно. В самом деле, решая задачу свержения самодержавия и ликвидации крепостничества (а затем его остатков), вожди революционной России в XVIII—XIX вв. столкнулись с основной трудностью освободительной борьбы, которую я бы сформулировал следующим образом: как вообще мыслить и действовать революционеру в эпоху, когда народные массы еще не обнаруживают способности к самостоятельному политическому действию, а плоды их борьбы даже в случае успеха, как бывало на Западе в XVII—XIX вв., уходят из рук победителей? И Радищев, и Пестель, и Герцен, и Огарев, и Белинский, и Чернышевский, и Писарев искали выход из тупика, но содержательные результаты их поиска — в силу царских репрессий, отсутствия возможности открыто излагать

свои взгляды — не оказали в прошлом сколь-нибудь значительного воздействия на ход событий в стране, не смогли устранить громадный перепад между теоретическим уровнем вождей и сознанием масс. Ю. Лотман, Б. Егоров и З. Минц в статье «Основные этапы русского реализма» сделали интереснейший вывод: «Щедрин был одним из писателей послереформенной эпохи, которые стояли не ниже и даже не на уровне передовой народнической идеологии, а выше ее уровня. Это и обусловило, с другой стороны, трагические нотки в его творчестве...»¹⁰.

Действительно, в истории освободительной борьбы в России мы сталкиваемся с парадоксом: выход того или иного мыслителя за рамки обыденного революционного сознания обуславливали и трагичность его мышления, и его отрыв от сподвижников. Надо учитывать к тому же «младенческий» возраст массы российских революционеров — он составлял, по данным Я. Лурье, 21—25 лет (и даже моложе), несколько старше были продержавшиеся до декабря 1825 г. — почти 10 лет — декабристы и вожди-эмигранты¹¹.

Проблема овладения освободительным процессом содержит — если брать мировой опыт — несколько аспектов.

Во-первых, гносеологический аспект — научное, реалистическое сознание объективных рамок и возможностей преобразовательного процесса, условий и оптимально возможной глубины революционных преобразований (революционеры редко соблюдали в своих действиях меру, сдавая постоянно власть тем или иным термидорианским режимам).

Во-вторых, аспект организационный — способность революционного авангарда (политической партии) вести за собой массы, направить в русло целенаправленных усилий их стихийный порыв, с тем чтобы, с одной стороны, реализовать задачи преобразования, с другой — свести к минимуму деструктивные последствия революционных страстей (разрушение производительных сил и культурных ценностей, разгул насилия, не вызываемый никакой необходимостью, и т. п.).

¹⁰ Ученые записки Тартуского государственного университета. Вып. 96. 1960, с. 17.

¹¹ См. Л у р ь е Я. Л. Некоторые особенности возрастного состава участников освободительного движения в России (декабристы и революционеры-народники). «Освободительное движение в России». Вып. 7. Саратов, 1978.

В-третьих, аспект нравственный, о котором столь выразительно писал Чернышевский, ставя проблему засорения революционных рядов, пагубной роли *плутов* и *мерзавцев* в революционных процессах. К концу жизни к той же проблеме придет В. Ленин: «нужда в честных отчаянная»; ЦКК-РКИ, продумывая планы реформирования советского государства, должна наряду с теоретическими задачами «подготавливать себя к работам, которые я не постеснялся бы назвать подготовкой к ловле, не скажу — мошенников, но вроде того, и придумыванием особых ухищрений для того, чтобы прикрыть свои подходы, подходы и т. п.»¹². Десятки авторов исследуют ныне ленинское Завещание, но указанной проблемы не видят.

Остановилось теперь подробнее на гносеологическом аспекте. Мне думается, что плодотворной учебе в школе освободительной борьбы в громадной мере мешало убогое наше преподавание.

Превращение идеального в реальное

В. Ленин, конспектируя «Науку логики» Гегеля, записал для себя: «Мысль о превращении идеального в реальное глубока: очень важна для истории»¹³. Но с каким трудом мы схватываем содержательно это самое *идеальное* и тем более фиксируем его превращение в *реальное*, воссоздаем исторический процесс, особенно в таких «узловых» его пунктах, какими являются революции или глубинные реформы!

Для марксиста аксиома: изучение истории общественной мысли должно опираться на материалистическую теорию отражения. Требования вычленения объективного содержания в субъективном образе (в тех или иных теориях) при вечном бессилии человека тягаться с «хитростью Мирового Разума», о чем писали еще Вико и Гегель, являются азами научной методологии. Но все дело в чрезвычайной сложности учета этих аздов. Допустим, что критический анализ источников (к примеру, античных или средневековых текстов) позволил нам с той или иной мерой приближения к их смыслу прочесть творения наших предков, которые по-иному трактовали и саму историю, и ее временные

¹¹ Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 50, с. 295; т. 45, с. 391-392, 397.

¹² Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 29, с. 104.

и пространственные координаты¹⁴. Допустим, далее, мы смогли заметить определенную цикличность процессов истории, точнее, спиралевидное, с откатами назад, восхождение от одной, как мы выражаемся, «общественно-экономической формации» к другой¹⁵. Предположим, наконец, что нам удалось выделить в историческом процессе такие узловые пункты, как революции и реформы, менявшие ритм, формы борьбы, само направление эволюции общества и вместе с тем выявлявшие антагонистичность прогресса. Но в какое многообразие идей, концепций нам приходится погружаться, исследуя даже ограниченные, как в нашем случае, отрезки истории отдельных стран!

Отражение общественной жизни в голове теоретика-идеолога складывается и под влиянием традиций (причем не только своих, отечественных)¹⁶, обогащается и собственным опытом, принимая самые разнообразные формы. Классические теоретические построения бывали порой столь сложны, что на детальное изучение плана внутренней застройки или всех переходов какой-нибудь системы, созданной гением Радищева или Герцена, Гете или Фурье, Чернышевского или Маркса, историку могло не хватить жизни. Возникает проблема: следует ли вообще воспроизводить хотя бы главные системы в их внутренней логике? Не лучше ли заниматься только выявлением и очищением, так сказать, их рациональных зерен? Но не потеряем ли мы при этом весь живой цвет, ажурные конструкции, удивительные переливы мысли, ее многообразие, а главное — определенную, хотя и с трудом схватываемую внутреннюю логику развития идей, качественное их изменение в фазе перехода от уров-

¹⁴ См., например, Лосев А. Ф. Античная философия истории. М., 1977; он же. Проблема символа и реалистическое искусство. М., 1976; Гуревич А. Я. Представление о времени в средневековой Европе. В кн. История и психология. М., 1971; он же. Категории средневековой культуры. М., 1972; Трубинов Н. Н. Время человеческого бытия. М., 1987; Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987, и др.

¹⁵ Сколь сложным было представление Маркса о формационном членении исторического процесса, не имевшее ничего общего с «пятичленкой» сталинского «Краткого Курса», см. сб. «Принцип историзма в познании социальных явлений». М., 1972.

¹⁶ См., например, Шацкий Е. Утопия и традиция. М., 1990.

ня сознания элитарного на уровень сознания массового, обыденного, со всеми его примитивизациями, суевериями и предрассудками? Трудности увеличиваются, когда от отдельных мыслителей приходится переходить к тем или иным влиятельным направлениям теоретической мысли, господствовавшим представлениям тех или иных эпох. Но трудности удесятерятся, когда от общественного сознания отдельных эпох мы переходим к сознанию человечества в целом — необъятный океан материала грозит бесследно поглотить любой многообещающий замысел соотнесения мысли с реальностью. Кстати, необходимость ориентировки в «Царстве Разума» была осознана уже в конце XVIII — начале XIX века. Следуя за Кондорсе, Гегелем, философия и наука перешли к систематизации достижений духовной культуры. Так были созданы десятки построений, рассматривавших развитие идеи свободы, идеи нации, идеи государства, идеи абсолюта и т. д. Но противоречия не были разрешены. За основу систематизации снова бралась то одна, то другая идея, процессы духовного развития представляли в виде филиации идей, первопричиной развития оказывалось влияние одного мыслителя на другого, а отнюдь не столкновение мысли с действительностью, терялась определяющая подоснова процесса. Существующее в исторической науке разделение труда и преемственность в исследованиях историков должны были, казалось, существенно облегчить поиск. Но именно при попытках использовать для обобщения уже наличную литературу выявлялось весьма прискорбное обстоятельство. Огромное большинство обобщающих пособий, описывая те или иные идеи, течения мысли, так сказать, упорядочивая их, вообще не занимаются соотнесением идей с действительностью! Два-три примера. В стабильных наших учебниках, где излагается история политических учений, многократно повторено: буржуазные идеологи выдвинули принцип разделения властей, он нашел отражение в принятых конституциях. Но *принцип* описывается сам по себе, общественная практика — сама по себе, где-то в общих курсах истории. Но те, в свою очередь, не занимаются специально анализом *принципов, учений*, воплощавшихся в жизнь. Так, учебники по истории позднего Средневековья квалифицированно опишут вам политическую историю Европы в бурных XV—XVI веках. Но в них — увы! — нет анализа тру-

дов, скажем, того же отца науки политики М. Макиавелли, других мыслителей".

В сотнях работ о Просвещении XVIII в ничего не говорится о том, как его идеи претворялись в деятельности просвещенных монархов вроде Фридриха II, Екатерины II, Иосифа II или в преобразовательной практике Американской, Французской революций. Книжки с методологически верной установкой на соотнесение мысли с реальностью¹⁸ у нас пока редкость, да и там не рассматриваются идеи Мирабо, Брэнсо, Дантона, Марата. Робеспьера в самом горниле революции. В остальном мы довольствуемся чтением пособий профессора Р. Виппера «Общественные учения. Исторические теории XVII и XIX веков в связи с общественным движением на Западе» (СПб., 1900) или академика В. Волгина «Развитие общественной мысли во Франции в XVIII веке» (М., 1958 и другие ее издания) и т. п. А ведь это — всего-навсего рядоположное изложение, пересказ десятка трудов тех или иных мыслителей без уяснения таких проблем, как: истоки тех или иных идей; сфера и пути их распространения (у того же Волгина салонная мысль Франции дифференцирована от массового, плебейского сознания; не исследована ломка идеалов Просвещения в ходе революций XVIII столетия — само обретение творцами Века Разума результатов совсем не разумных, обратных тем, к которым они стремились, и т. д.). Уяснение диалектического соотношения теории и практики никогда не отличало школу Виппера-Волгина, бесконечно далеко ее столпам до Гете, да и таких проницательных мыслителей XVIII в., как Э. Берк, Т. Пейн — первый из них ставил в «Фаусте» проблему соблюдения меры в революционных преобразованиях, их катастрофичности, второй говорил об абстрактности лозунгов Просвещения, третий выявлял их содержательную эволюцию. Пожалуй, только в давних трудах П. Новгородцева «Об общественном идеале» (Киев, 1919) или Ф. Хайека «Дорога к рабству» (1944) обнаруживаются выходы к диалектике мысли и действия, но утверждать, что перед нами результат сознательно проведенной методологии, я бы не стал. В критике концепции Маркса иные христианские мыслители были

¹⁷ См., например, История средних веков. Т. 2. М., 1991.

¹⁸ Такие, как недавно опубликованная «Французское Просвещение и революция». М., 1990.

достаточно сильны, но меня не умиляет их позитивная позиция, точнее, молитва: «Да придет Царствие Твое! Да будет воля Твоя на земле, как и на небе!»¹⁹,

Короче говоря, пересказать и раскритиковать взгляды мыслителей оказывается проще, чем проверить воплощение хотя бы одной крупной идеи в жизнь — ведь в последнем случае потребуется проследить параллельно ход процессов, слов и дел на громадных отрезках времени.

Трудности соотнесения идей с действительностью заставляют историков общественной мысли придерживаться хронологической (или географически-хронологической) последовательности, отводя «историческому фону» иногда отдельный параграф, а то пару-другую страниц, если не абзацев. Места этому фону в самом «творческом анализе» уже не находится...

Порой в итоге отвлечения мысли от действительности из поля зрения исчезают, можно сказать, исторические перевороты в общественном сознании человечества. Так, в нашей литературе почти совершенно не изучено влияние Американской войны за независимость (1775—1783 гг.) на европейскую мысль, а ведь именно это событие вызвало коренную радикализацию общественного сознания Франции как раз накануне решающей схватки демократии с абсолютизмом; совершенно не известны у нас достижения западной историографии, полностью подтвердившие проникновенный вывод Предисловия к I тому «Капитала» Маркса: «Американская революция послужила набатным колоколом для европейской буржуазии»²⁰. В. Волгин, как и Р. Виппер, вообще «забыли» рассказать нам о так называемой *машине войны* Рейналя и Дидро — переизданиях ими «Истории обеих Индий, или «Американской революции» аббата М. Рейналя, в громадной мере повлиявших на европейскую мысль»²¹.

Не прослежен в советской литературе обратного рода процесс: глубочайший кризис буржуазного европейского радикализма, начавшийся уже в годину якобинской диктатуры, когда от Робеспьера отшатнулись Жак Ру, Леклерк, Дантон, Т. Пейн, Кондорсе, на какое-то время — Гракх Бабеф. В тео-

ретическом арсенале у А. Манфреда, В. Далина, Г. Гуковского, Г. Макогоненко вообще нет понятий «кризис Просвещения XVIII века», «трагедия радикализма XVIII века», «крах Царства Разума», — а без осмысления этих трагедий нам не понять идейные распри в той же якобинской Франции 1793—1794 годов или духовную драму Радищева последних лет его жизни, или противоречия программ Карамзина, или декабристов, наконец, причины решительного отказа великих утопистов Сен-Симона, Фурье, Оуэна от политического насилия. У нас в достатке было в 50-х годах переизданий сочинений Ж.-Ж. Руссо, М. Робеспьера, Ж.-П. Марата, но в предисловиях к ним не найти анализа коллизий и противоречий их мысли; доминируют восторги насчет «революционного бесстрашия, смелости, энергии» и народных масс, и их вождей. Никаких там тяжких, поучительных, кровавых уроков революции, никакого приближения к той сути вещей, которую еще в прошлом столетии в общем-то неплохо выявили А. Пушкин в статье «Александр Радищев», Гете в «Фаусте», граф Ф. де ля-Барт в труде «Шатобриан и поэтика мировой скорби во Франции в конце XVIII и в начале XIX столетия» (Киев, 1905) или тот же обруганный нами И. Тэн в трудах «Происхождение современной Франции», «Социализм как правительство», как и забытый нами Ф., Шлоссер с его «Историей XVIII столетия...» и др.

К тому же, дав нашему читателю в русском переводе труды «несгибаемых революционеров», советские издательства и историки не позаботились дать ему переводы сочинений Дантона, Демулена, Жака Ру, не познакомили нашего читателя с памфлетами Эдмунда Бёрка, ставшими хрестоматийными на Западе. Наш пухлый юбилейный труд «Великая французская буржуазная революция 1789—1794» под редакцией академиков В. Волгина и Е. Тарле (М.-Л., 1941) являет классический пример того, как можно ходить вокруг да около горячих точек революции, ничего не сообщая о них по существу. Вы узнаете о том, что говорили выступившие против Бёрка мыслители в Европе, даже кое-что о его последователях, но вот изложения взглядов самого Бёрка нет, как нет этого во всей нашей историографии. А ведь Бёрк, за ним Тэн ставили вопрос о гибели катастрофического обрыва цивилизационных традиций в революциях, неуправ-

¹⁹ См., например, Булгаков С. Н. Философия хозяйства. М., 1990, с. 341 и др.

²⁰ См. М а р к с К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 9.

²¹ Wolpe H. Raynal et sa machine de guerre. Stanford-California, 1957.

ляемости и гибельности развязанного во Франции 1789 г. процесса, когда, с одной стороны, грубая сила поступила на службу радикального учения с его абстрактными, но пустыми постулатами-обещаниями, а с другой — радикальные учения отдали себя на службу необузданной грубой силе разрушения. И все же Бёрку, Тэну еще повезло — их хоть упоминали. А вот о книгах Густава Лэбона, ставившего вопрос о возможном появлении в новое время цезаризма, пострашнее древнеримского, в нашей литературе не было ни единого слова.

Забываясь о чистоте марксистских пособий, мы даже книгу французского историка-коммуниста Альбера Соболя «Парижские санкюлоты по времена якобинской диктатуры» (М., 1966) дали в руки нашему читателю под конвоем вступления А. Манфреда, доказывавшего всему свету: не верьте фактам, собранным и осмысленным Сободем, не его выводу об «антагонизме между двумя социальными категориями: между секционной демократией и революционным правительством, между санкюлотами и якобинцами». Верьте цитатам Ленина и только цитатам Ленина, который, заметим, Французскую революцию XVIII в. специально не изучал — где какие-либо его конспекты, проспекты, свидетельствующие об этом? Есть его мелкая правка на детских по уровню статьях Луначарского о событиях 1789—1794 гг.— в газетах «Вперед» и «Пролетарий» за 1905 г.²², есть пара-другая удачных формулировок, десятков восторженных отзывов о якобинцах в 1905—1907, 1917-ом, пара отрицательных отзывов о них же в 1921 г.— не более того..

Спираль истории

Над советской историографией десятилетиями тяготел негласно всеми признанный закон: нельзя смешивать воедино разные эпохи, разные революции, к примеру ту же Французскую конца XVIII в. и Октябрьскую XX в.²³. Да к тому же Маркс, Энгельс, Ленин

обладали теорией революции, что же касается революционеров XVIII в., то таковой теории у них не было... Политический подтекст всех этих запретов в общем-то ясен: наша казенная идеология — еще со времен Сталина — больше всего боялась нежелательных аллюзий. Так была похоронена в свое время дискуссия об «азиатском способе производства», тем более, что К. Виттфогель прямо находил таковой в СССР. Так был нанесен удар по книге «Запретная мысль обретает свободу» в 1968 г.; ее критик вопрошал: «правомерны ли подобные сопоставления из практики революций буржуазной и социалистической, протекавших в столь разные исторические эпохи?»²⁴

Казалось бы, методологически запрет на смешение разных эпох и времен, акцент на их разнокачественность совершенно бесспорен, подкрепляется высказываниями основоположников марксизма-ленинизма. И все же исторические исследования — и советские, и досоветские,— как и сами основоположники, неумолимо доказывали необоснованность всех этих запретов и упреков.

К примеру, могла казаться сплошь напичканной аллюзиями превосходная статья И. Верцмана «Ж.-Ж. Руссо и буржуазная революция» из эпохи Нашей «оттепели» тех же 1960-х годов²⁵. Автор метил в Наполеона, а попадал явно в Сталина! Но еще более разительные «аллюзии» обнаруживались, например, при чтении книги Г. Буасье «Общественное настроение времен римских цезарей» (Пг., 1915). Автор будто рассказывал об идеологических побоищах или сталинском геноциде, но ведь такого замысла у него в 1915 г. и быть не могло! Что же касается «основоположников», то Ленин постоянно говорил с 1905 г. о перерастании буржуазно-демократической революции в социалистическую и заговорил с 1921 г. о возможном откате последней назад. Есть у него и такая констатация: «Нет неподвижной грани между буржуазной и пролетарской революцией...»²⁶.

И вот уже в перестроечные времена Натан Эйдельман в интереснейшей книге «„Револю-

²²См. «Литературное наследство», т. 80.

²³См., например, предупреждение, высказанное в 60-е годы по поводу книги Я. Старосельского «Проблема якобинской диктатуры» (М., 1930): сопоставление данной диктатуры с диктатурой пролетариата «абсолютно не допустимо ввиду глубочайших отличий во внутренних отношениях этих совершенно различных диктатур, обусловливаемых коренным различием их социальной сущности и объек-

тивных задач», в сб. «Из истории якобинской диктатуры 1793—1794». Труды межвузовской научной конференции-Одесса, 1962, с. 24.

²⁴См. Штурм Г. Против мнимого новаторства. «Коммунист», 1968, № 10, с. 126.

²⁵«Вопросы литературы», 1961, № 12.

²⁶Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 44, с. 463.

ния сверху в России" в разделе «Спираль» поставил вопрос, как он сам пишет, без всяких намеков, «во весь голос», «грубо, зримо»: «И вот настало время сопоставить времена»²⁷. Приведу его аргументацию, с которой в основе я согласен, но которую кое в чем и уточню.

Автор совершенно прав, заявляя, что «быстроскачущий XX век и колоссальные перемены в технике» не делают ненаучными аналогии с временами наших предков. Мы приняли от них и наш категориальный аппарат (например, понятия *государство, экономика, война, мир* и т. п.), но главное — в другом. «Давным-давно мудрыми философами (среди которых Гегель, Маркс) было замечено и неоднократно повторено, что история человеческая движется как бы по спирали; каждый следующий виток, несомненно, отличается от прежних и в то же время чем-то похож... Итальянское, европейское Возрождение, разумеется, не копия Древней Греции и Рима, но сходный виток великой спирали, через тысячу лет возрождающей многое из старого.

А вот похожие витки совсем иного рода: русская история, экономика, общественная борьба опрокинули крепостное право, ослабили, ограничили самодержавие, затем — победоносно сбросили его... Но как не заметить в 1930-х годах зловещего «повторения»: освобожденное революцией крестьянство попадает в положение, близкое к худшим образцам крепостной зависимости; единоличная власть Сталина — в духе худших самодержавных традиций (впрочем, ни один российский самодержец не имел столько власти)».

В истории каждого народа, аргументирует Эйдельман, существует определенный генетический код — «то, что именуется традицией, преемственностью, что закладывается веками, тысячелетиями и менее подвержено переменам (хотя, разумеется, подвержено), нежели техническая, внешняя сторона жизни»²⁸, недаром же поэт сказал:

«Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку...».

Открытая постановка сложнейших проблем — дело великое для науки. «Один не-

²⁷ Эйдельман Н. «Революция сверху» в России. М., 1989, с. 23.
²⁸ Эйдельман Н. Указ. соч., с. 23-24.

смысленной урядник благочиния,— писал еще А. Радищев,— может величайший в просвещении сделать вред и на многия лета остановку в шестви разума»²⁹. За «круглым столом» 1988 г. историков Октября уже прямо, а не на языке аллюзий обсуждался острейший вопрос о «глубинном внутреннем родстве, типологической общности сталинизма и „нечаевщины"», была признана необходимость включения данной темы в труды по российскому освободительному движению. Доказывался и тезис: нечаевщина тысячекратно повторилась в XX в. в расправах Сталина с революционерами, в его режиме «казарменного коммунизма», как и Нечаева, «его отличала абсолютная безнравственность, приверженность к терроризму в политике — те черты «нечаевщины», которые разоблачали уже Маркс, Энгельс»³⁰.

И все же стоит критически принимать расхожие тезисы вроде: Ленин *просто* возродил деспотизм российских самодержцев, сталинизм — это *просто* «нечаевщина» XX в., и т. п.

Выше я говорил: во времена не столь отдаленные господствовало мнение: Маркс, Энгельс, Ленин обладали «научной теорией революций», домарковские революционеры, даже Чернышевский, таковой не обладали. Грань между теоретическими представлениями разных эпох была, но все же решусь утверждать: наше пренебрежение к знаниям великих борцов XVIII в. мало чем оправдано. Когда тот же Робеспьер, выступая против вождей Жиронды с их порочной затеей *революционной войны*, восклицал: «Да послужит нам уроком история революций», то это была не пустая фраза. Вот его предупреждения насчет того, что из революционной войны и гражданской смуты может вырасти *военный деспотизм*: «Во время смут и мятежей военачальники становятся арбитрами судьбы своей страны и склоняют чашу весов на сторону той партии, к которой они примкнули. Если это Цезари или Кромвели, они сами захватывают власть»³¹. Эти слова оказались пророческими...

И все же не будем упрощать проблему. Так, перечитывая Ш. Монтескье с его «Духом за-

²⁹ Радищев А. Н. Поли. собр. соч., т. I, с. 331.

³⁰ См. «Вопросы философии», 1988, № 9, с. 117; Сб. «Россия 1917 года: выбор исторического пути». М., 1989, с. 58—59.

³¹ Робеспьер М. Избранные произведения в 3-х томах. Т. I. М., 1965, с. 170, 265 и др.

конов», Ж.-Ж. Руссо с его «Общественным договором», Ж.-П. Марата с его «Цепями рабства», никак не отделаешься от впечатления, что перед тобой какая-то смесь науки с ненаукой. Вряд ли у кого возникнут возражения против выработки типологии государственных форм, чем занимались Монтескье или Руссо вслед за Платоном и Аристотелем. Но вот рассказы Монтескье о том, сколь различны люди «в различных климатах» или само его беспомощное определение закона в том же «Духе законов», вызывает улыбку. В «Цепях рабства» Марата прекрасно разобран механизм действия парламентской системы в Англии, выявлены ее несообразности (автор сам участвовал здесь в парламентской борьбе), но вот примеры из истории разных времен и народов представляются произвольно надерганными. То, что уже в XVIII в. мыслители выходили к важнейшим социологическим обобщениям, говорит хотя бы пример Радищева. Он писал в «Путешествии...»: «Но в мире сем все приходит на прежнюю степень, ибо все в разрушении своем имеет начало... Христианское общество в начале было смиренно, кротко, скрывалось в пустынях и вертепах, потом усилилось, вознесло главу, устранилось своего пути, выдало суеверию; в изступлении шло стезею народам обыкновенной): воздвигло начальника, расширило его власть и Папа стал всесильной из Царей. Лутер начал преобразование, воздвиг раскол, изъяслялся из-под власти его, и много имел последователей. Здание предубеждения о власти Папской рушиться стало... истина нашла любителей. но недолго пребывала в сей стезе. Вольность мысли вдалась необузданности. Не было ничего святого, на все посягали. Дошел до края возможности, вольномыслие возвратится вспять»³². Определенные циклы в становлении цивилизаций пытались вычленивать крупнейшие мыслители и историки XIX и XX столетий: Н. Чернышевский, А. Тойнби; Чернышевский в отчужденной от народа политической власти видел тайну господства *плутов* над массою.

Описывая становление историзма от античных времен до XVIII в., методолог истории М. Барг фиксирует важнейшую особенность в трудах философов-историков XVIII в., беря ее в общем-то со знаком минус: «Эта историография обращалась к

³²Радищев А. Н. Поли. собр. соч., т. I. с 260—261 (подчеркнуто мною.— *Е. П.*)

различным временам и народам не с целью различения их, а с тем, чтобы вопреки бросающимся в глаза различиям обнаружить единство, сводившееся все к той же человеческой природе, остающейся везде и повсюду неизменной величиной»³³. Не со всем тут можно согласиться. Н. Эйдельман справедливо отмечает, что катастрофически быструю смену эпох человек пережил, в общем-то не поменяв, не успев изменить своей природы: «Что такое 700—800 лет? — спрашивает он, перебрасывая мостки „из 1980-х в 1860 — в 1100-е...“. Всего 30—35 поколений. В сущности, совсем немного по сравнению с парой тысяч предков, отделяющих каждого из нас от обезьянолюдей...»³⁴. Итак, чье теоретическое построение нам предпочесть: М. Барга или Н. Эйдельмана? Попытаемся в нашем выборе опереться на наследие Маркса..

Общее и особенное в естественно-историческом процессе

Обращаясь к методологическим установкам Маркса, можно отметить: он весьма существенно поменял их, если сравнивать время написания «Коммунистического манифеста» или 1-го тома «Капитала» с письмами, наметками последних лет его жизни, когда Маркс углубился в российскую проблематику. Установки 1848—1867 годов были, я бы сказал, элементарны: «Страна промышленно более развитая показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего... Всякая нация может и должна учиться у других... Общество, если даже оно напало на след естественного закона своего развития... не может ни перескочить через естественные фазы развития, ни отменить последние декретами. Но оно может сократить и смягчить муки родов...»³⁵.

А вот марксово же предупреждение в известном его письме в «Отечественные записки»³⁶ Упомянув об экспроприации сво-

³³Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987, с. 336.

³⁴Эйдельман Н. Указ. соч., с. 30.

³⁵Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 9—10.

³⁶Оно писалось в 1877 г., было найдено после смерти Маркса Энгельсом в его бумагах, направлено в 1884 г. члену группы «Освобождение труда» В. Засулич, опубликовано в 1886 г. в Женеве в журнале № 5 «Вестника Народной Воли» и в

бодных крестьян в Римской Империи, а также об образовании в ней крупной земельной собственности и крупных денежных капиталов, т. е. как бы «полосов» системы капитализма (*свободная* рабочая сила—*накопленный* капитал), Маркс пишет: «Что же произошло? Римские пролетарии стали не наемными рабочими, а праздною чернью, более презренной, чем недавние «*roog whites*» южной части Соединенных, Штатов, а вместе с тем развился не капиталистический, а рабочевладельческий способ производства. Таким образом, события, поразительно аналогичные, но происходящие в различной исторической обстановке, привели к совершенно разным результатам. Изучая каждую из этих эволюций в отдельности и затем сопоставляя их, легко найти ключ к пониманию этого явления, но никогда нельзя достичь этого понимания, пользуясь универсальной отмычкой в виде какой-нибудь общей историко-философской теории, наивысшая добродетель которой состоит в ее надысторичности»³⁷.

На первый взгляд данная установка Маркса вполне в духе суждений Барга: акцент при анализе разных эпох, времен, формаций явно ставится на их специфике, на сходстве, особенностях. И все же не будем пленниками поверхностного взгляда. Что такое «поразительная аналогичность» процессов, происходящих в различной среде? Это же своего рода признание, фиксация опять же закономерности, однопорядковости процессов, схожих тенденций, пусть не всегда реализуемых на разных этапах спирали развития. Отбрасывать их Маркс не призывает. Он призывает изучать разные процессы порознь, их собственную логику развития, а уже затем сопоставлять выявленные факты.

Мы бы сформулировали углубленное с годами марксово понимание «естественно-исто-

рического развития» общества так: общественная наука выявляет черты закономерности, повторяемости в развитии общества — иначе она не могла бы именоваться наукой. Наличие закономерности, устойчивости связано с возникновением однотипных процессов в обществах, проходящих схожие этапы экономического, политического, культурного развития (или вовлекаемых в эти схожие процессы «против воли», например соперничество с ушедшей вперед страной). Таким образом, в странах, поставленных в примерно равные условия (а иногда и просто «втолкнутых» в воздействующую на них чуждую среду обитания), происходит реализация всеобщего в историческом развитии.

Но фиксируемое теорией повторяющееся, воспроизводимое вновь *то же самое* или *прежнее* уже не является, в сущности, ни тем же самым, ни прежним, ибо оно существует, возникает в иной среде, а посему бывает модифицировано, отягчено другими явлениями, не имевшими места в прошлом или у соседей. К тому же общество, развиваясь, образует и качественно новые типы исторического развития, вступающие в сложнейшие взаимодействия со старыми; возникают и качественно новые явления, причем подчас самого крупного исторического плана.

Таким образом, всеобщее реализуется в конкретно-исторической специфике, каждый раз по-новому. Но что про старое нельзя забывать — Маркс знал великолепно. Перед нами опять-таки забытое нашими историками обобщение, касающееся вопроса вроде бы частного — борьбы сект внутри I Интернационала, но несущего громадный методологический смысл. «Впрочем, в истории Интернационала повторилось то же самое, что всегда обнаруживается в истории. Устаревшее стремится восстановиться и упрочиться в рамках вновь возникших форм»³⁸. Но если бы дело ограничилось только XIX веком и только I Интернационалом...

самой России в октябре 1888 г. в «Юридическом вестнике» Никакого значения ему (как и более позднему письму Маркса В. Засулич от 8 марта 1881 г.) Плеханов и его соратники не придали.
³⁷Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 19, с. 120-121

³⁸ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 33, с. 279 (подчеркнуто мною.—Е. П.).